

Библиотека Анархизма  
Антикопирайт



Эрик Эру  
Репертуар ПостАнархии  
2010

Скопировано 17.09.2020 с  
[vk.com/@post\\_anarchism-postanarchia-repertoire](https://vk.com/@post_anarchism-postanarchia-repertoire), на  
английском:  
<https://theanarchistlibrary.org/library/erick-heroux-postanarchia-repertoire>

[ru.theanarchistlibrary.org](https://ru.theanarchistlibrary.org)

## Репертуар ПостАнархии

Эрик Эру

2010

У нас нет недостатка в коммуникации — наоборот, у нас её даже в избытке, но нам недостаёт творчества. Нам не хватает сопротивления настоящему. Творчество концептов само по себе обращено к некоей будущей форме, оно взывает к новой земле и ещё не существующему народу [...] Этому народу и этой земле нет места в наших демократиях. Демократия — это большинство, а становление по природе своей есть именно то, что вычитается из большинства.

— *Делёз и Гваттари*

Как нам стало так грустно? Двадцатый век — это история провалившихся революций против капитализма и империи; то есть, коммунистических и антиколониалистских восстаний. Вместо этого капитализм никогда ещё не был настолько принятым и принимающим, в то время как империя снова внедряет себя через неокOLONиальное угнетение и постколониальные националистические режимы, гротескно издевающиеся над своими гражданами. Век ока-

зался ловушкой. Когда не фашистское насилие уничтожало анархизм, как в Испании, тогда это делало тоталитарное насилие. Когда не колониальное насилие, тогда постколониальное. Когда не национализм, тогда терроризм. Когда это было не явное насилие, тогда это была еще более коварная, так как скрытая форма контроля: экономический и технический контроль над населением и индивидами, который трудно было назвать, тем более сопротивляться. Нам грустно, потому что мы были соблазнены и брошены, покинутые любители человечества. Этот прошлый век не был заговором, хотя многие заговоры преуспели. Единственными заговорами, которым было позволено преуспеть, были те, которые приспособивались и способствовали тотальному дрейфу в мировой капитал. В эпоху экономической иерархии допускается только насилие экономики.

Прошлое, настоящее, будущее. Анархизм, как часто говорят, прошёл. Это была идеология девятнадцатого века, которая нашла выражение в нескольких бомбах и убийствах, «пропагандистах дела». Его наиболее полное общинное выражение было в Испании до того, как фашисты насильственно свергли Республику в этой окончательной прелюдии ко Второй мировой войне. Следовательно, всё, что есть у анархизма — прошлое, безнадежное дело в зрелом мире демократических государств. Так говорится в регулируемом фольклоре. Тем не менее, неловкое настоящее присоединяется к некоему возврату анархизма, к «новым анархистам», «чёрным блокам», намеренным сообществам, временным автономным зонам, экспериментальным социальным центрам, возрождением публикации анархистских антологий, классики, новых прочтений и поразительному возвращению символа анархии повсюду: заявляя, что настоящий порядок проистекает из анархической свободы. Это не маленькая ирония, историческая

ные группы населения в больших группах, которые мы научились считать «расовыми».

С точки зрения рассматриваемой проблемы, моё предложение таково: политетическое определение анархизма созвучно тому, к чему стремится анархизм. Эта скользкая, но все же логическая чувствительность к самому «анархизму» отчасти означает то, что означает означающее «постанархизм». И для анархистов должно представлять дальнейший интерес, что этот подход сам по себе верен постанархистской эпистемологии, в которой большая часть совокупности характеристик, которые по-разному определяют анархизм, теперь ретроактивно показана как применимая к эпистемологии: откуда мы знаем и как нам надлежащим образом представить нашу реальность? Ну, без авторитаризма, господства или монолога; но со свободой, равенством и солидарностью. В целом, с искренним уважением к диалогическому принципу, к участию, к равенству потенциала, к новаторству, распространению, разногласию, паралогизму, полицентризму, трансверсальности связей и открытости к обмену информацией всеми, от всех, ко всем, без ограничений. Используя это в качестве нашего репертуара, пусть же игры начнутся.

ирония, что система статус-кво государства всеобщего благосостояния плюс капитализм — единственная, которая объявила своё собственное отсутствие будущности: это называли «концом истории» и «концом идеологии». Настоящее — это высшее достижение человеческих способностей, самый мудрый компромисс удобно расположен поблизости: статус-кво оказывается непреодолимым, вечным настоящим, которому бесполезно было бы сопротивляться, так как все конкурирующие альтернативы потерпели неудачу. Тем не менее, как зловещий призрак, анархизм вновь появляется, чтобы объявить, что сообщения о его кончине преждевременны. Напротив, теперь он переосмысливается как «постсовременная теория», привлекая внимание к «предстоящему сообществу» (Агамбен), «грядущей демократии» (Деррида), «ещё не существующему народу» (Делёз и Гваттари) в парадоксально «неописуемом сообществе» (Бланшо), в котором восстающая «множественность» состоит не из идентичностей, а из «сингулярностей» (Хардт и Негри). Эти теории либертарного коммунизма не называют себя анархистскими — или, по крайней мере, лишь косвенно, что можно легко показать в специфических аллюзиях и сносах. Но они повсюду реанимируют по-видимому мертвые анархистские темы и переформулируют старый лексикон в неологизмах для новых возникающих условий. Постанархизм, следовательно, утверждает своё будущее; в то время как консьюмеризм государства всеобщего благосостояния никогда не устает утверждать свое вечное настоящее без какого-либо будущего развития, в полном отрицании истории.

Грядущие люди, те, что были упомянуты великими провидцами-художниками, поэтами, философами — и здесь я имею в виду таких, как Блейк, Уитмен и Ницше, — не будут клонами пролетариев или сохранениями осаждённой культуры рабочего класса и не вернуться

назад к отрезанным корням коренных племён или любой другой эссенциалистской идентичности (или фундаменталистской идентификации), будь она маскулинной или феминной, чёрной или белой, истинной или ложной. Эти современные стилизации радикальных образов отвергаются в постанархистской теории (и действительно, эссенциализм чаще всего отвергался и в классическом анархизме). Вместо этого новый акцент во всем постанархизме — не сохранение и не возвращение, а скорее становление. Чистый образ подлинных пролетариев, аборигенов или доколониальных угнетённых теперь преобразован и открыт для будущего «становления меньшинством». Ни большинство, ни чистота; но жизненно важное значение здесь представляет бесконечно открытый процесс становления отличным от того, кем уже был, *создавая* сингулярность, а не *существуя* как индивид, простирая ветки вовне, а не откапывая корни. Сингулярности — это уникальные элементы, сформированные как из преиндивидуальных элементов, так и из трансиндивидуальных элементов, составляющие свои собственные пространства и времена. Тем не менее, то, что подтверждено и вынесено из различных марксизмов, антиколониализмов и классического анархизма — это то, что Делёз и Гваттари назвали источником грядущих людей: «раса угнетённая, нечистая, низшая, анархическая, кочевническая, неизбежно находящаяся в меньшинстве».

Где мы сегодня? Оказались словно пешки между двумя доминантными и доминирующими институтами, которые конкурировали друг с другом и сотрудничали друг с другом за доступ к доминированию над нами: Государством и Корпорацией. Нашей политической альтернативой не будет захват власти и становление корпорацией или государством. Но скорее обход этих институтов путём децентрализации, подрывающей оба. Оба этих доминирующих

Представление анархизма само должно быть анархистским представлением, поскольку оно будет иметь последствия. Даже если в нашем обсуждении мы сотрём термин (Деррида использовал латинский *sous rature*), даже когда мы вычеркиваем эссенциалистское определение, оно продолжает функционировать таким образом, что мы вынуждены отмечать его последствия для нашей мысли. Или оно продолжает быть необходимым, даже если мы признаем, что оно неточно. Так, например, означающее «раса» может быть отмечено так же несчастно, как и *раса*, потому что, несмотря на то, что оно было деконструировано (фактически показывая, что его социальное конструирование не основано на каких-либо биологических означаемых, а скорее основано на бинарных оппозициях и иерархических социальных формациях), тем не менее, ненадлежащий термин продолжает быть необходимым, даже если во всего лишь какой-то по-новому отдалённой форме. В современной науке «раса» — очень свободная политетическая категория. Не существует монотетического определения расы на уровне ДНК, поскольку необходимые и/или достаточные гены не соответствуют никакому социальному определению. Вместо этого есть удивительный диапазон вариаций в более политетических скоплениях. Сегодня никто по-настоящему не верит в расу как материализованную вещь в себе, некий эссенциалистский ноумен, и тем не менее раса продолжает действовать с реальными последствиями: иногда как самоутверждение для этнических групп (или то, что Гаятри Спивак называет «стратегическим эссенциализмом»), иногда для подавления этих групп. Иногда расу используют для выявления настоящих скоплений генетики, имеющих реальное значение в лечении болезней, но всегда политетически. Скопления, как правило, представляют собой гораздо меньшие конкрет-

как другие могут показаться достаточными, но они не являются необходимыми. Вместо того, чтобы дисциплинировать традицию анархизма, чтобы она соответствовала эссенциалистскому определению, я полагаю, что мы могли бы использовать анархистский подход к определению, который не является эссенциалистским, более инклюзивен и который ослабляет власть. Политетическая классификация оказывается полезной, и она тщательно используется в нескольких областях биологии. Подход не сложный. Отмечается набор характеристик или качеств, которые относятся к чему-то, в нашем случае — к анархизму. Затем мы соглашаемся, что пока что-то обладает определенным количеством этих качеств, вероятно, большинством качеств, хотя и не всеми, то это по определению анархизм. Но набор качеств определенным образом равен: ни одно само по себе не является необходимым. Любое может отсутствовать, но определение будет по-прежнему применяться, если применяется большинство характеристик — в любой возможной комбинации. Вместо анархизма без прилагательных, это анархизм со многими возможными прилагательными.

В зависимости от количества качеств или аспектов анархизма, которые можно было бы включить в это политетическую совокупность, возможные перестановки были бы либо немногими, либо немалыми, разграниченными и строгими или обширными и слабыми. Здесь мы снова сталкиваемся с одним из открытых секретов деконструкции: с одной стороны, определения не неизбежны, а с другой стороны, они не бессмысленны. Определения делают что-то в реальном мире, даже если они не даны как заповеди на горе Синай. Определения часто ускальзывают, как будто они скользкие для нашей когнитивной хватки. Мы сами часто говорим двусмысленно в дискуссии, не говоря уже о том, как меняются определения в дебатах среди множества.

института работают как иерархии. Все больше и больше они, похоже, действуют как сети, рассеянная власть, которая просачивается в ткань самого общества как «правительственность», или «биовласть», которая подчиняет нас не через дисциплину или соответствие нормам, а скорее через глубокое и соблазнительное пропитывание наших мечт и желаний своей моделью наших предполагаемых «интересов». Эта сетевая власть крушит границы между общественным и частным, между работой и игрой, между домоводством и Экономикой. Но эта власть, коварно эффективная, является всего лишь условной стратегией, экраном, удерживающим довольно очевидные иерархии, которые он поддерживает. Наша альтернативная операция — это тоже сети, но сети, которые являются не экранами, а перераспределениями власти. Кто говорит, кто может быть услышан, кто может видеть, кто может быть увиден, кто может решать, какие решения можно принимать — все это перераспределяется в подлинных сетях.

Сети. Всевозможные сети разного назначения, использующие разные виды связи. Как ни странно, сетевые исследования показали, что не каждый узел в сети одинаково децентрирован. Сети потенциально ацентричны, но на самом деле они развиваются как *полицентричные*: где некоторые узлы более использованы и более полезны, чем другие. Полностью ацентричная взаимосвязь виртуальна, доступна для вступления в силу; однако на практике большинство взаимосвязей проходит через меньшее количество основных узлов. Большее количество других узлов становятся относительно маргинальными, даже если они все еще связаны со всеми остальными узлами и ещё потенциально способны стать более «центральными». Результат — гибриды иерархии и равенства: как/так и, но в то же время ни/ни вертикальный и горизонтальный: что-то *среднее*. Требуется новый концепт. Диагональное или, что

лучше, *трансверсальное* взаимодействие. Сети иллюстрируют гибридность и равенство, свободу и обоюдную взаимосвязанность и диалогическую полифонию ключевой постанархистской переоценки всех ценностей. Предстоящее сообщество является сетевым, и оно приходит через сетевые структуры, и оно вводит в действие сеть: полицентричную, когда она хочет, и, тем не менее, всегда уже децентрализованную или ацентричную, если хочет. Сеть как даёт возможность, так и является результатом самоорганизующейся системы сингулярностей во взаимной связанности.

Многонациональные конференции, проводимые под официальные фанфары в городах под названием Киото, Сиэтл, Генуя, Копенгаген и т. д., неоднократно демонстрировали неспособность элитных менеджеров прийти к какому-либо приемлемому согласию о том, как лучше разделить добычу, как сохранить привилегии, как гарантировать устойчивость капитализма, как заставить власть казаться привлекательной, в общем, как спасти статус-кво от его собственных ядов. Эта примечательная серия неудач была встречена не менее примечательной серией забывчивостей в запутавшихся СМИ. Будь то амнезия или намеренный злой умысел, в результате этого лишь вдохновенная группа протестующих призвала к пробуждению от этого ступора, впрочем, протестующих, обычно изображённых, когда их пинают и опрыскивают различные национальные стражи мира, теперь неразлично одетых в формы штурмовиков из *«Звёздных войн»*. (Новая Империя не слишком утончена в своём символизме.) Официальные переговоры пытаются сохранить статус-кво, заключая сделки, чтобы покрыть противоречия между национализмами и всемирным руководством. Лишь протестующие смогли предложить альтернативу этим несостоявшимся переговорам: аль-

держивают свободное предпринимательство и даже индивидуализм. Большинство из них — модернисты, но некоторые — примитивисты. Некоторые анархисты — пацифисты, в то время как другие практиковали «пропаганду делом» с коктейлями Молотова и многим другим. Среди последних некоторые считают, что насилие должно применяться только против собственности, но не против отдельных лиц, в то время как другие традиционно практиковали убийство. Некоторые анархисты верят в постепенные реформы, другие — в внезапную революцию, в то время как другие отвергают как реформы, так и революцию в пользу перестройки социальной структуры с внешней позиции или, возможно, наизнанку альтернативными услугами, группами и практиками. Эти многочисленные различия являются обширными и многолетними, несмотря на периодические попытки собрать вселенский всеобъемлющий «анархизм без прилагательных», к которому призывал Фернандо Таррида дель Мармол на Кубе, а также Вольтарина де Клер в Америке в конце девятнадцатого века. Постанархизм, очевидно, снова прикрепляет прилагательное. Это прилагательное расстраивает некоторых анархистов. Тем не менее, именно существительное «анархизм», а не прилагательное, традиционно требовало того или иного модификатора: индивидуалистский, социальный, синдикалистский, зелёный, либертарный, коммунальный, активистский, пацифистский, незападный и так далее. Я предлагаю рассмотреть этот спорный вопрос определения с помощью научного подхода, называемого «политетическая классификация». Политетическое определение не монотетично, как в подходе Аристотеля к определению категории по ее свойствам, которые должны быть как необходимыми, так и достаточными. Монотетического определения анархизма не существует, поскольку некоторые из вышеперечисленных аспектов необходимы, но не достаточны, в то время

и я, эксперты и новички, меньшинства и большинства, хозяин и гость, мужчина и женщина, как Кант, так и Гегель, Дарвин и Кропоткин, Маркс и Бакунин, а также на самых далеких границах нашего воображения, что даже Сара Пэйлин и Усама бен Ладен имеют в конечном счёте одинаковый потенциал для развития соответствующего представления о себе и других. Это отнюдь не неосторожное заявление о том, что все эти представления в равной степени верны, хороши или красивы. И при этом они не в равной степени ложны, плохи и уродливы. Опять же, это великое искушение, которое нужно преодолеть. Принцип политики равных представлений обязательно подтверждает и ценность разногласия. Та степень, в которой это заключение неудобно или неутешительно, отражает степень недоверия к самому равенству. С другой стороны, та степень, в которой это становится приемлемым, лично и политически, — это степень доверия к постанархизму.

Политическая совокупность: или как определить анархизм? Как традиция, анархизм никогда не был просто чем-то одним. У него тоже есть история разногласий и даже сектантских расколов и по крайней мере различных акцентов на скольких угодно проблемах. Конечно, анархизм против господства — но тогда некоторые анархисты верят в бога или в пользу родительской власти над своими детьми. Другие — нет. Конечно, анархизм антигосударственный. Тем не менее, некоторые анархисты утверждают, что, поскольку во многих случаях транснациональные корпорации более могущественны, чем государство, нам следовало бы модулировать эту антигосударственную позицию в сторону более практичной тактики подхода к социальным кризисам, в которых государство может регулировать и смягчать некоторые жестокие практики капитализма. Основная традиция анархизма была антикапиталистической и даже коллективной. Однако некоторые анархисты под-

тернативный мир по отношению к бизнесу как обычной модели глобализации. Самый острый анализ показывает, что другой мир не только возможен, но и что другой мир необходим. Эта необходимая альтернатива согласуется с принципами постанархистского руководства.

Анархизм вдохновил и вдохновлён той старой революционной троицей равенства, свободы и солидарности (я предпочитаю этот последний термин патриархальному «братству»). Анархизм никогда не реализован полностью, но это политический идеал, к которому нужно стремиться постоянно, более демократичный, чем «демократия», установленная сейчас в системах государственного представительства. Как идеал, он никогда не присутствует в полной мере, но всегда является потенциалом выявить лучшее в формах свободной общественной жизни. Даже посреди наших нынешних Государств именно анархистские практики процветают в трещинах проваливающихся систем. Анархизм как теория и практика был самым верным старой троице идеалов и работал ради развития практик повседневной жизни, культивирующих приемлемое сообщество — такое, которое может улаживать вполне реальные напряжения между тремя: когда равенство нарушает свободу или наоборот; или где свобода нарушает солидарность и так далее. Анархизм в своих лучших проявлениях никогда не был ни просто о «свободе», ни о «равенстве», ни о «взаимопомощи» самих по себе, а скорее о подтверждении всех трёх, несмотря на напряженности. Признание того, что напряжение всегда будет оставаться между этими тремя революционными идеалами, и утверждение этого напряжения как продуктивного и ценного является революционным временем постанархизма.

Классический анархизм радикально отвергал представление, то есть представителей, говорящих за других. Постструктуралистская теория добавляет к этому несколько

слоев критики. Постанархизм будет продолжать читать анархистское отвержение с/через/против постструктуралистского усложнения представительства. Вопрос о представлении никогда не будет решен раз и навсегда, поскольку мы обнаруживаем, что сам язык является представлением, и в силу этого не может быть просто отброшен, а лишь увиден насквозь как конструкт, даже если он обязательно используется. Нет никакого данного заранее естественного присутствия, которое гарантировало бы абсолютную истину повторного присутствия представительства; тем не менее, это также подразумевает, что все, что мы имеем в плане значения — представления. Присутствие, можно предположить, действительно существует, но смысловая значимость того или иного значения всегда является представлением. И представления имеют последствия. До сих пор это Деррида в двух словах, и начинается с его довода о том, что не существует трансцендентального означаемого, однако значение всегда уже осуществляется в нескончаемой системе различий, где каждое различие, которое существенно что-то меняет, способно на это лишь в этом очень реляционном отличии от всех смежных различий — которые сами по себе не присутствуют и не являются присутствиями, а скорее также являются реляционными различиями. Это будет постанархистской темой, неумолимо разъедающей все натуралистические предположения об идентичности и надлежащем месте моей собственности. Представления всегда де-натурализованы, ненатуральны. Даже *мимесис* как прямое отражение природы оказался историческим, а не природным, как показала история искусств и наук. История «Идеи природы» Коллингвуда, наряду с изучением *Мимесиса* в истории литературного представления Ауэрбахом, приходят на ум как решающие иллюстрации моей темы: «природе» даются различные значения, представление природы проскользает по ряду

ния единого образа мышления, разговора об истине, добре и красоте. Монолитный монолог технократии, массовое производство, средства массовой информации, разочарование, железная клетка рациональности и материализма Вебера, редукция народов к *homo economicus*, разграниченная как конкурентный личный интерес, и так далее. Но внутри этого слишком хорошо знакомого модерна находилось потенциальное постмодернистское открытие наружу, иногда активируемое как оппозиционный модернизм. В результате Лиотар указывает, как сегодня мы можем сделать всю информацию одинаково доступной, а затем начать игры. Монологическое состояние постмодернизма несет в себе семена альтернативного постмодернизма, диалогического анархизма, проявленного в Интернете, — этом огромном мире без Государства, составленного из сотрудничающих техник и условно-бесплатных программ, из бесплатного контента, свободно предоставленного кем угодно в равной степени. Интернет — это самое ясное проявление стихийного сотрудничества, пересекающего нации, выше и ниже наций, проявление диалогического и разногласия. Сеть и ее всемирная паутина не столько служат прообразом грядущего постанархистского сообщества, сколько сегодня являются планетарным коммуникативным достоянием настоящего постанархистского общества.

Как постмодернистское разногласие избегает все еще серьезного обвинения в неосторожном релятивизме? Теоретически предположить равенство потенциала — это не поспешно сделать вывод, что этот потенциал автоматически реализуется, тем более, что мнение каждого человека «одинаково правильно» или даже «одинаково неправильно». Хотя это последнее отрицание очень заманчиво, оно тоже сильно промахивается. Давайте предположим более точно, что у каждого есть равный потенциал для того, чтобы прийти к лучшему или полному представлению — вы



рирующих представлений. Ценность любого требования, информирующего наше решение, будет основана на других критериях, но не на происхождении этого аргумента, будь то от субъекта или от другого.

Консенсус или разногласие? То, что я до сих пор утверждал, не предполагает, что все мнения равны, как иногда говорят второкурсники колледжей. Равенство — это политическая стратегия, а не чистый релятивизм. Однако теперь несогласные мнения предполагаемо обладают равной способностью и равными правами на выражение, как и мнения признанных экспертов. Разногласие подтверждается ни как благородная цель, ни как средство достижения какой-то другой цели, такой как консенсус, а скорее более непосредственно как необходимость, которая следует равенству в мире несхожести. Лучшее название здесь — диалог — и не просто какой-то старый диалог, а, следуя Бахтину, «диалогическое», логика полифонии, включающей в себя диссонанс. Более того, в постмодернистской науке это разногласие-как-полифония становится тем, что Лиотар назвал «паралогизмом» — в котором научные модели и парадигмы преследуют парадоксы и распространяют широкий спектр теорий, подходов, объектов; разветвляясь вовне и прочь с инновационными способами представления, множественными эпистемологиями и дискурсами. Лиотар видел ценность разногласия не только для авангардного научного знания, но и для справедливости. В мире несхожести, распространяющихся идентичностей, изменчивых субъективностей, несоизмеримых мировоззрений, как же нам прийти к справедливости? Какая языковая игра должна решить это? Какая эпистемология должна господствовать? Лиотар и Бахтин согласны с анархистским подходом к этой проблеме: ничто не должно господствовать. Несοизмеримость — не проблема; господство — проблема. Проблема, которую нам завещал модерн — гегемо-

двусмысленностей, подтекстов, противоречий, модусов, эпистем, жанров, и делает это *до бесконечности*. Последствие — ряд разнообразных значений.

Моё зеркало, моё Я. Нет существенной гарантии, что аутентичный субъект даст истинное представление этой позиции с этой позиции. Самопредставления столь же восприимчивы к самообману, как и представления Другого или представления меня Другим. Неверное распознавание — это иногда проекция своих отвергнутых характеристик на что-то другое, как в метафоре «тени» Юнга; но неверное распознавание — также и зеркальный опыт. То есть видеть себя, но в то же время совершенно не видеть, что видят другие, когда они видят тебя. Драматический пример зеркала как неверного распознавания, без сомнений, данный слишком буквально, находится в тайваньском фильме «Yi Yi» (переведённое как «Один и два») покойного режиссера Эдварда Янга. В фильме маленький мальчик снимает десятки фотографий людей, так сказать, «за спиной» — буквально фотографии их спины. Затем мальчик представляет эти фотографии каждому человеку в качестве странного подарка. Поздно в фильме его спрашивают об этом своеобразном хобби. Говоря как настоящий художник, ответ мальчика и не по годам зрел, и всё же невинен; он объясняет, что он хочет, чтобы люди видели ту сторону себя, которую они обычно не способны увидеть. Мы не знаем, как мы выглядим для других сзади. Представления мальчика — это точка зрения Другого, недоступная в зеркале. Это также объясняет жуткость знаменитой картины сюрреалиста Магритта, в которой человек смотрит в зеркало и ошеломлен, обнаружив, что он может видеть только свою заднюю часть, но, в типично сюрреалистской перемене, не лицо. Остроумие здесь заключается в том подтексте, что реальная ситуация в повседневной жизни — это просто эта сводящая с ума слепая зона наоборот. Таким же

образом, у кино есть потенциал, иногда реализованный, чтобы представлять нас лучше, чем мы могли видеть себя без этого аппарата и без этой Другой перспективы.

Мы должны с подозрением относиться к представлению, даже быть против него — но парадокс, возможно, *апория*, заключается в том, что мы не можем существовать без представительства. Анархизм был прав, выступая против представительства, и следует подчеркнуть, что это все еще важно. В политике равенство и представительство находятся в противоречивой напряженности, как и свобода и представительство. Мы должны вновь подтвердить принцип открытого участия в принятии решений, особенно позволяя тем, кто будет в наибольшей степени затронут решением, иметь наибольшее участие в принятии этого решения. Тем не менее проблема представительства остается нерешенной. Каждое представление в лучшем случае частично, искажено, извращено — включая самопредставление. Мы не всегда даем лучшие или, вернее, единственные представления себя. Представление само по себе действительно является неприятной проблемой — прежде всего для анархизма — в том смысле, что это не просто психологический или эстетический феномен, как намекали мои аллюзии, но также огромная политическая проблема. Я предлагаю, чтобы мы поэкспериментировали в обдумывании этих проблем представления, введя понятие *равенства*, так сказать, сзади, чтобы дополнить понятия индивидуальной свободы и солидарности. Мой акцент на равенстве может показаться странно озадачивающим, если только вы не читали Рансьера, которого я назначаю постанархистом, в моём представлении. «Равенство» — это ключевое слово для его многих работ и принцип, с помощью которого Рансьер предлагает переосмыслить демократию, образование, художественную практику, литературную интерпретацию и так далее. Он

несколько раз настаивал на том, что равенство не является онтологическим утверждением или каким-либо нормативным, биологическим или эссенциалистским заявлением. Это политический принцип, а не онтологический. Вместо этого *эгалитэ* — это теоретическая гипотеза, требующая проверки: что, если бы мы, к сожалению, впервые, начали серьезно относиться к принципу равенства в как можно большем количестве ситуаций. Что, если бы мы, например, предположили, что ученики действительно равны своим учителям — просто как мысленный эксперимент, а затем, возможно, как праксис. Мы могли бы быть удивлены, как нам показывает книга Рансьера о учителе восемнадцатого века Жакото («*Невежественный учитель*»). Политическое и прагматическое допущение равенства может привести к тому, что в классе проявится это равенство, то есть, что ученики смогут учить себя в той же степени, что и учитель.

Что, если мы предположим, что читатель равен писателю? Что, если зритель равен художнику? Что, если бы все теоретически имели одинаковую фундаментальную способность понимать, говорить, интерпретировать? Следуя из этого, представление, тем не менее, осталось бы проблематичным, но оно стало бы, как будто впервые в истории, игрой на равных. Ваше представление обо мне, допустим в начале этой игры, равно моему представлению. Чье-либо представление своих интересов равно, не всегда лучше чем, чужому представлению этих интересов. Оба вступают в игру или соревнование как предположенные равные, борясь за внимание. Опять же: это не утверждение о правде, или вечности, или реальности, или онтологии. Будучи ни одним из них, это политическое требование думать и практиковать демократию. Не должно быть никакой иерархии и даже перевернутой иерархии, в которой свободный человек — монарх своего замка. Вместо этого мы живем вместе в мире неизбежных конфликтов и конку-